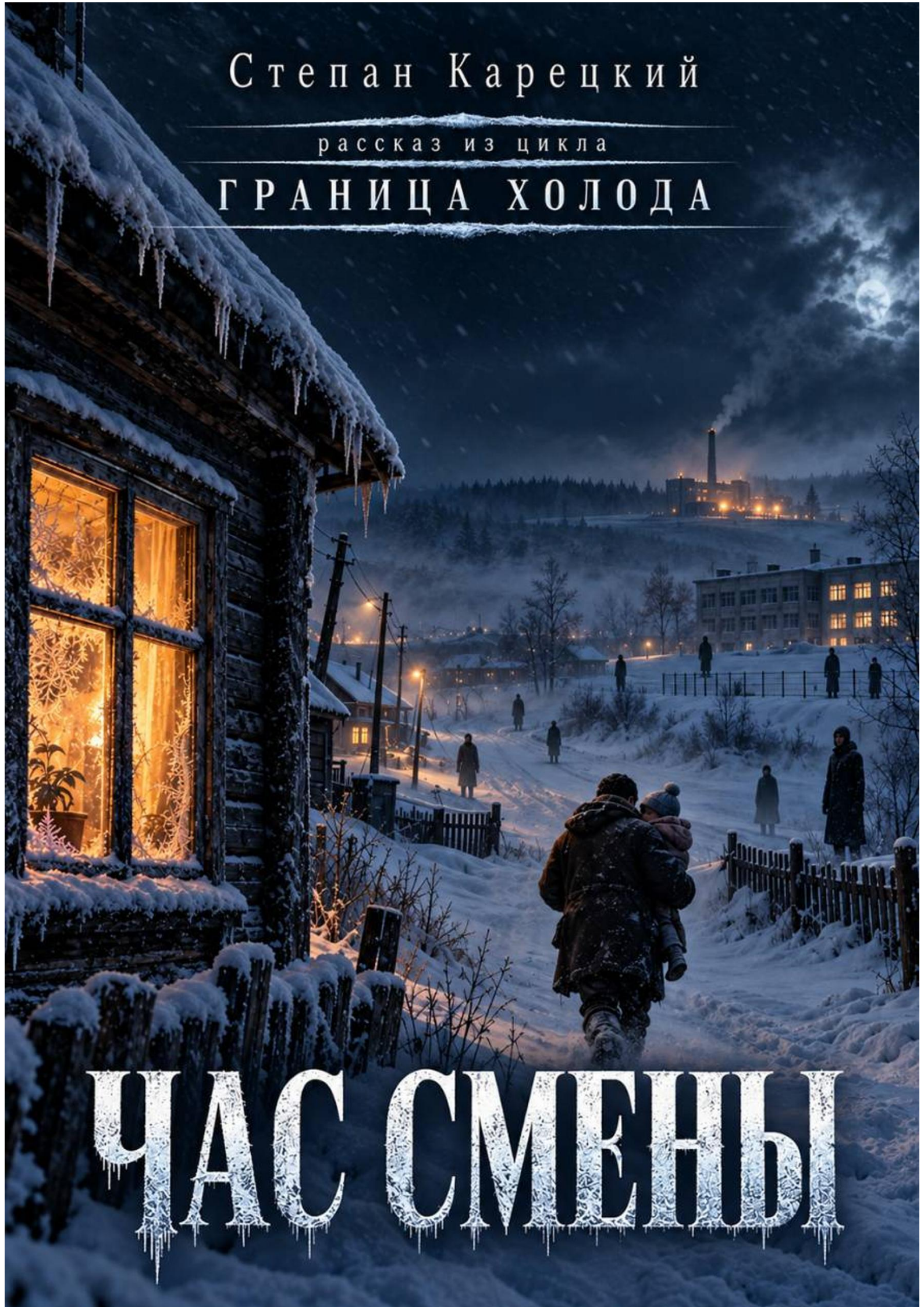




Степан Карецкий

рассказ из цикла

ГРАНИЦА ХОЛОДА

ЧАС СМЕНЫ

Степан Карецкий

Час смены

«Автор»

2026

Карецкий С.

Час смены / С. Карецкий — «Автор», 2026

«Час смены» — самостоятельный рассказ из постапокалиптической вселенной «Граница холода». Его можно читать отдельно от основного цикла. Одиннадцатилетняя Верка не возвращается домой до наступления часа, когда весь посёлок запирает двери. Её отец нарушает главное местное правило и выходит на поиски — туда, где уже четыре зимы неподвижно стоят замёрзшие люди. Сегодня некоторые из них повернули головы...

© Карецкий С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

I. Две смены	6
II. Светлая	10
Конец ознакомительного фрагмента.	12

Степан Карецкий

Час смены

Выписка из «Правил проживания посёлка Верхний Ёль», листок в школьных сенях, четвёртую зиму переписываемый одной и той же рукой:

- 1. Уголь — по талонам, норма на двор.*
- 2. За водой — по двое, с багром.*
- 3. От половины шестого до половины седьмого по улицам не ходить. Двери — на щеколду. Скотину не выпускать. О причине не спорить.*

I. Две смены

Смену в посёлке сдавали засветло — к пяти.

Так было при леспромхозе, так осталось. Котельная работала в две смены, кочегар и слесарь: один сдавал, другой принимал, а к половине шестого все, кому не надо было оставаться у топки, старались уже быть дома. Никто из живых уже не помнил, зачем это время выбрали когда-то — просто так было заведено, и всё держалось на этом: школа отпускала детей, бабы уходили с фермы, обходчик в январе начинал счёт своих столбов заранее, чтобы к стрелке оказаться в тепле.

В двадцать минут седьмого менялись не только живые.

Об этом в посёлке не говорили. Не из-за запрета — разговор просто кончался, не начавшись, как кончается свет в патроне, если щёлкнуть выключателем. Спросишь «а что будет, если...» — и собеседник смотрит на тебя так, как смотрят на человека, который хочет проверить пальцем, жив ли провод. Детям объясняли один раз, считалкой, и больше не объясняли никогда.

Илья пришёл со смены затемно, в четверть шестого, переобулся в сенях, постоял у печки, грея спину. Дом был его дом: две комнаты, голландка, на подоконнике банки с рассолом, на стене фотография, где все трое ещё были. Он жил в нём одиннадцатый год, а третью зиму — вдвоём, потому что после той зимы, когда Тамары не стало, счёт вёлся на двоих: он и Верка.

Верки ещё не было. Это было правильно: по четвергам она ходила на дальний конец Светлой, к бабе Шуре, за молоком, и возвращалась, когда темнело окончательно. Дорога занимала четверть часа, если идти тротуаром, мимо фонаря и школы. Верка ходила этой дорогой четыре года, с тех пор как доросла до того, чтобы носить бидон двумя руками. Дорожка эта была выучена всеми, кто её ходил: сначала Тамара, потом они вдвоём, потом — после той зимы — Верка одна, под присмотром всей улицы. Улица смотрела за ней исправно: из пяти окон, из двух, хоть из одного. В посёлке не было чужих детей — это было единственное, чего тут было вдоволь.

Он поставил чайник, посмотрел в окно.

Стемнело давно — в январе темнело к трём, а днём бывало два часа серой воды между ночами, и то по верху неба, солнце ходило где-то ниже крыш, по чужим краям. На улице стояла та тишина, какая бывает только в большой мороз: не отсутствие звука, а его замерзание. Слышно было, как в котельной, через шесть дворов, ровно гудит топка — не звук даже, а толчки в воздухе, как будто посёлок спит и у него бьётся сердце. Скрипел фонарь на углу. Железный кронштейн, расшатанный ветром, качался и скрипел с длинными паузами, и по этому скрипу, не глядя на часы, можно было знать время лучше, чем по часам: без десяти шесть фонарь всегда стихал, потому что ветер к вечеру ложился.

Вдоль старой трассы, за стёсаным до льда проездом Светлой, стояли люди.

Их было видно отсюда, из тёплого, — с ноготь величиной, серые, редкие, как свечи в церкви к концу службы. Ближе всех стояла женщина в платке, у самого поворота; она стояла четвёртую зиму, и платок за это время стал частью её, снег ложился на платок и не таял. Возле школы, во дворике, где раньше ждали очереди к фельдшеру, стояли ещё двое, боком друг к другу. На нижней стороне, вдоль насыпи разобранной ветки, — шеренга, человек тридцать, может, больше: считать их было не принято, как не считают покойников в чужом году.

Весной их метили. Обходчик, приезжий из-за Печоры, раз в сезон шёл вдоль улиц с ведром сажи и кистью и рисовал на плечах кресты — чтобы видно было, что учтены. Жечь их был обычай, и обычай исполнялся дважды: в первую весну, когда вокруг посёлка ещё меняли землю на железо, и во вторую, после заносной зимы, когда жгли барак на нижней стороне вместе со всем, что в нём осталось. Потом уголь стал дороже людей, и говорить про это перестали.

Своих не жгли вовсе. Женщина в платке у поворота была из пришлых, но и её не трогали: она стояла на месте, как стояла, и за четыре зимы не сделала ничего, что требовало бы решения.

Раз в сезон из-за Печоры приезжал обходчик — молчаливый мужик в овчинном полушубке, с тетрадью в клеёнке. Он шёл по посёлку вдоль всех тёплых мест, останавливался перед каждым стоячим, записывал что-то своё, обходское, мазал сажевые кресты заново, где выцвели, и уезжал на своей дорожной машине обратно в Совет, где, наверно, сидели такие же молчаливые мужики с такими же тетрадями. Посёлок на день объезда менялся в лице: дети не выпускались дальше двора, бабы варили гостинец, староста надевал парадный жилет. На другой день после объезда всё возвращалось: обходчик уезжал, посёлок оставался — один на один с тем, что считали в тетрадь.

Так и жили. Между домами и насыпью — сорок шагов, между живыми и теми — сорок зим, если считать честно, и никто не считал.

Проверкой этой жил и он сам: утром глянул — все на месте, и день открыт. Это была уже не бдительность и не страх — обычная утренняя привычка: посмотреть, что ночь ничего не переменила, и жить дальше. Четыре зимы ночь ничего не меняла. Про пятую он старался не думать, потому что про пятую в посёлке не думал никто: у всех хватало дел в пределах текущей.

Отойдя от окна, он поправил в печке. Уголь горел хорошо, шёл крупный, воркутинский, из последней талонной доставки. Он сел к столу, подтащил к лампе Веркин портфель — ремень опять расползался, надо было прошить — и стал ковырять шилом дыру, слушая дом.

Верка стучала в окно три раза.

Это был их уговор, старше её: при Тамаре он приходил с ночной смены к утру и стучал в кухонное стекло — тихо, костяшками, три раза, чтобы не будить лишним, и Тамара вставала и открывала. Потом остался он и Верка, и стук перешёл к ней: приходя из школы или от Шуры, она сначала стучала — три раза, с той же стороны, в нижнюю раму, — а уже потом шла к дверям. Он так и не понял, зачем ей это, столько зим подряд. Может, ей нравилось, что уговор работает. Может, ей хотелось, чтобы в окно смотрели и ждали. Он ни разу не спросил, чтобы не спугнуть.

Бидон она несла полуторалитровый, алюминиевый, с обвязанной ручкой. Молока Шура не жалела, и разговору было вдосталь: она провожала Верку до калитки и ещё немного говорила через калитку, и это было хорошо — своих у Шуры схоронили в разные годы и в разные стороны, и Верку она привечала особенно — было с кем поговорить.

Этим утром он сам вышел с ней до угла.

Утро было из тех, какие в январе зовут днём: в одиннадцать небо посветлело до серого, снег загорелся, и посёлок на час стал виден весь, до последнего столба. Они шли по Светлой — Верка впереди, на полшага, дыша паром и волоча авоську со сменкой, он сзади, и, как всякий живой в посёлке, идущий по улице, он глянул вдоль проезда, на юг, где за поворотом стояла шеренга.

Все были на месте.

Это была утренняя проверка, та же, что проверка печи: не думая, глазами, по верхушкам. Женщина в платке — на месте. Двое у школы — на месте. Дальше, у насыпи, где избы кончались, — тёмные вертикали вдоль трассы, все тридцать, сколько видно с угла, все стояли, как стояли, каждый на своей точке, со своими снежными шапками. Утренний взгляд скользил по ним, как по столбам, и докладывал: всё в порядке, посёлок охраняем, день открыт. Никто никогда не говорил этих слов вслух. Слова были бы хуже правды.

— Пап, — сказала Верка на углу, не оборачиваясь, — а Прокопыч Николаич вчера говорил, что сменку в мешке носить нельзя, что мешок — это барство.

— Носи в авоське, — сказал он.

— Я и ношу в авоське, — сказала Верка. — Я спрашиваю, почему он так говорит.

— Потому что он старый. — В его время барством был сам мешок.

Верка подумала и кивнула — с той серьёзностью, с какой дети принимают объяснения, которые ничего не объясняют, но пригодятся потом, лет через двадцать. У школьного крыльца она остановилась, поправила платок и пошла к дверям, где Прокопыч Николаич, сторож, мёл снег с крыльца, — чистил его, как чистил всю жизнь, с той лишь разницей, что теперь мёл до краёв, до самой последней ступеньки, где кончалось крыльцо и начинался дворик, в котором стояли двое.

Он стоял на углу, пока она не вошла. Потом постоял ещё немного, слушая, как за её спиной хлопнула дверь и как девчонки на другом конце школьного двора, у ледяной горки, выкрикивали считалку — новую, поселенскую, которой не было ни в его детстве, ни в чьём:

— Стрелка к шести — в дом зашли! Стрелка на шести — гляди-гляди-гляди!

Дальше он не разобрал: считалка уходила вглубь двора, в визг и топот, и он пошёл на смену, думая о том, что считалка-то новая, а «гляди-гляди-гляди» в ней — старое, вечное, из тех времён, когда прятки играли не от таких соседей. Дети переделали под посёлок всё: игры, считалки, дорогу в школу. Взрослые переделали правила и окна. Все жили в одном и том же переиначенном мире, и никто не собирался его чинить.

День был как день. В котельной он поменял набивку на вентилях подводки, разгрёб шлак, сгрёб снег с угольного бункера, съел пару кусков хлеба с солью и час, может, дольше, просидел у окна — смотрел, как над посёлком стоит морозная дымка, как по Светлой, без десяти четыре, прошли лыжами двое Петуховских, старший и младший, со школы к себе, на нижнюю сторону, — прошли насыпью, короткой дорогой, мимо шеренги, как ходили всегда, — и подумал без всякой мысли, просто отметил глазами: идут.

К пяти небо сгорело до чёрного, снег перестал гореть и стал просто снегом, и он сдал смену, и пошёл домой, и дом был тёплый и пустой, и он знал, что к шести в нём станет на одного человека больше.

Стрелка подошла к шести.

Он сшил ремень, отрезал нитку и посмотрел на часы — не потому что волновался, а потому что наступало то время, когда любой человек в посёлке начинал смотреть на часы. В окно он больше не глядел: глядеть было незачем, от Шуры до дома — четверть часа, при худом раскладе двадцать минут, она ходила этой дорогой четыре года. Он налил себе чаю и сел к столу.

Без десяти шесть фонарь на углу, как всегда, стих.

Ветер лёг. Посёлок остался один на один с морозом, и мороз заговорил: в стенах домов, в проводах, ещё живых на две улицы, коротко и часто затрещало железо, будто где-то далеко били по рельсе и звук шёл сюда по всем металлам сразу. Так трещало каждый вечер, к этому тоже не ходили смотреть. Он слушал эти звуки, как слушают дыхание спящего: ничего не значат и значит всё в порядке.

Без пяти шесть он встал и занавесил окно.

Это делалось само, рукой, без участия головы: одёрнуть занавеску, проверить щеколду, заглянуть в печь. Рука помнила, голове работы не было. Никто в посёлке не подбирал этому слова — никакого.

Стук должен был прозвучать ещё на шестой минуте.

Он не прозвучал на шестой. Не прозвучал на восьмой — он сидел за столом с кружкой, к которой так и не притронулся. На десятой минуте он понял, что уже некоторое время сидит не двигаясь, и что сердце у него работает тяжело, как мотор под нагрузкой, и что он, не замечая, сжимает шило.

Он вышел в сени в валенках на босу ногу и постоял у двери. Со стороны Шуры, с дальнего конца Светлой, было не слышно ничего. Не видно ничего: на всей улице горели два окна — его и кочегарово, у котельной, — и между ними лежала темнота правильной формы, шесть дворов, школа, поворот с женщиной в платке.

Часы в комнате показывали десять минут седьмого.

До половины седьмого — двадцать минут.

Ждать означало: если она упала и не может идти, лежать ей в мороз ещё двадцать минут, до половины седьмого, и потом ещё столько, пока посёлок проснётся и соберётся. Он посчитал это про себя один раз, честно, как считают деньги перед покупкой. Потом ещё раз.

Когда часы дошли до семнадцати минут седьмого, он натянул второй валенок.

II. Светлая

Собирался он по-пожарному — быстро и молча, как собираются не думая. Тулуп на себя, рукавицы за пояс, в карман — моток бинта и огарок свечи в жестянке от чая. Ружья в доме не было, ружей в посёлке было два, и оба у старосты, и про них вспоминали два раза в год, когда приезжал обходчик. Он взял вместо ружья клещи — не для того, чтобы кому-то ломать, а потому что рука без железа не понимала, что вышла работать.

В сенях он задержался на три секунды, которые остались в нём потом на всю зиму: посмотреть на часы — семнадцать минут, — на ведро, на Веркины валенки под лавкой, которых не было, потому что валенки были на ней, и на дверь.

Потом он открыл дверь и вышел в час.

Сразу стало ясно, как давно он не был на улице ночью. Мороз взял его за лицо, за ноздри, за крайние зубы — не болью ещё, а сухим, звенящим холодом, от которого глаза сами сужаются. Дыхание пошло изо рта столбом и оседало на воротнике инеем. Он постоял на крыльце, пережидая первый толчок холода: всё тело просилось обратно в тепло.

Снег под ногами был сухой и глубокий, расчищенный за день до состояния наста, и наст скрипел. В посёлке умели ходить по этому скрипу — перекатом, с ноги на ногу, ставя ногу плоско, — и он пошёл так, хотя некому было слышать. Окно его горело за спиной, окно кочегара горело впереди, справа, у котельной, и между ними лежала Светлая — двести саженей утоптанного снега, столбы, школа слева, поворот направо, к насыпи.

Он прошёл три двора, и мороз начал говорить.

Это был тот самый голос, к которому все привыкли и которого никто не мог передать приезжему: металл ночью коротко и часто трещал в проводах, в железных крышах, во что-то там глубоко в земле, — сухие, злые очереди, как будто где-то далеко били ломом по рельсе и звук приходил сюда по всем железам сразу. Днём этого не было слышно за работой. Вечером, к стрелке, мороз разговаривал всегда.

Потом треск разом стих.

Не стих — кончился, оборвался на середине очереди, как обрывается музыка, когда выдернули вилку. Он остановился на четвёртом дворе, не доходя школы, и стоял, дыша в воротник.

Вот этого — чтобы обрывом — он не помнил.

Правило ему передали в первый год, как передают ключи от подвала, — без объяснений. Осенью тридцатого, когда он осел в посёлке при котельной, староста тогдашний, Егорыч, сказал ему при расчёте одно: «В час сиди». Не «не ходи», не «бойся» — «сиди», как говорят щенку, и так же ласково. Илья тогда ещё был городским головой — два года как приехал, а головой оставался там, где про всё есть паспорт и инструкция, — и спросил: почему. Егорыч посмотрел на него с интересом, как смотрят на новую породу, и ответил то, что отвечали в посёлке всем спрашивающим, начиная с весны тридцатого:

— Потому.

Он ещё посмеивался в первую зиму — в трубу, тихо, по-городскому: час смены, тридцать градусов, снежные люди у дороги, счёт до шелчка. Он умел жить среди чужих порядков, если за них платили. Вторую зиму он не смеялся: весной тридцатого он уже стоял здесь, приездами, и сам видел, что осталось от Гришкиного двора, — а увиденное однажды лечит от вопросов быстрее любой науки. Третья зима обошлась без него самого: руки сами задёргивали занавеску, сами проверяли щеколду, сами считали время до стрелки. Тело выучило правило раньше, чем он успел решить, верит ли в него, — и с тех пор они жили втроём: он, тело и правило.

Причину правила не знал никто. Было известно, чьих рук дело правило — Егорыча; было известно, когда оно родилось — весна тридцатого, канавы, Гришкин двор, одиннадцать

сожжённых до заката; было известно даже, как оно звучит на детском языке — считалкой. Не было известно одного: правильно ли посёлок понимал собственное правило. Илья впервые усомнился в этом только сегодня, на четвёртом дворе, между двумя звуками.

Тишина стояла такая, что он услышал, как у него в тулупе шуршит брезент на локте. Как где-то в посёлке, за тремя домами, тонко свистит пар в котельной — ровно, без перебоев: смена принята, топка в норме, всё как всегда. Как снег под его валенком, после того как он перестал стоять, ещё секунду оседал и мёрз.

И — звук.

Один, длинный, на нижней стороне, за школой, со стороны насыпи. Не скрип и не треск — а так скрипит снег под чем-то тяжёлым, что движется без шагов, не поднимая ног. Полозья. Или тело, которое поволокли по снегу. Он слышал этот звук один раз в жизни, четыре года назад, и четыре года был уверен, что больше никогда его не услышит, — и вот он слышал его опять, недолго, может, счёт до тридцати, и всё это время звук был ровный, терпеливый, как работа.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.